



Андрей  
Аствацатуров

# Скунс- камера

AdMarginem

Андрей Аствацатуров

**Скунскамера**

«Ад Маргинем Пресс»

2010

## **Аствацатуров А. А.**

Скунскамера / А. А. Аствацатуров — «Ад Маргинем Пресс», 2010

Новая книга Андрея Аствацатурова продолжает линию, намеченную им в дебютном романе «Люди в голом». Автор ведет читателя в путешествие по Ленинграду-Петербургу, делая короткие остановки в тех местах, где проходили его детство и юность. Воспоминания переплетаются с жизнью за окном, академические знания становятся частью повседневности. Аствацатуров – великолепный рассказчик, «русский Вуди Аллен», чьи короткие скетчи и литературные анекдоты, случаи из жизни и зарисовки с натуры не раз заставят вас рассмеяться.

# Андрей Аствацатуров

## Скунскамера

### Окно

Мыслям, которые приходят в голову, когда сидишь взаперти, доверять нельзя. Так говорила Люся. Но других у меня никогда не было. И если мне приходилось выходить из дому, то в голове сразу делалось пусто.

Мы с Люсей поженились, когда нам обоим было по двадцать пять. Накануне свадьбы она сказала, что сделает из меня человека. У Люси был большой бюст, красивая талия, и я полностью ей доверился. Через четыре года мы развелись. Люся объявила, что я совершенно безнадежен. Видимо, я сделал ошибку, когда однажды честно признался ей, что в детстве мечтал работать в булочной продавцом. После развода мы какое-то время встречались и один раз даже вместе ездили в Крым отдыхать. Потом Люся вышла замуж за американца и уехала в США. А я остался здесь. Остался в своей однокомнатной квартире на площади Мужества. Мои друзья ласково называют ее “живопырной”.

– Окна на восток! Великолепный вид! С утра солнце! Свежий воздух! Зеленый район! – выталкивала слова конторская служащая, круглая тетка с фиолетовыми волосами и массивной брошью на внушительной груди. Мама сидела на стуле, приставленном боком к желтому тощему столу, и дер жала меня, трехлетнего, за руку. Я не понимал, почему фиолетовая тетка хочет, чтоб мы жили в зеленом районе. Мне мечталось жить в красном. Наверное, уже тогда во мне начали просыпаться левые идеалы. В зеленом, это я уж знал наверняка, будет неинтересно. И еще хотелось в туалет по-маленькому. В детстве это желание охватывает тебя почему-то внезапно, как петербургского поэта-верлибриста вдохновение.

Я выкрутил руку из маминой ладони:

– Мам, я писать хочу!

– У вас тут есть туалет? – перебила мама фиолетовую тетку. – Извините нас.

Та улыбнулась.

– Да завсегда пожалуйста! Я ж понимаю... У меня ж дома такой же. Раньше вот тоже – все писать просился, я уставала, а теперь вырос – я думала, ну все, слава богу, так он того хуже – велосипед просит. А зарплаты у нас... сами знаете... какой там велосипед... Так что радуйтесь пока, Вера Викторовна.

Мама поднялась.

– Пойдете по коридору, налево до конца, – фиолетовая вытянула вперед ладонь и как-то странно ее изогнула.

– Мы быстро, – кивнула мама. – Пошли, Андрюша!

– Не торопитесь. Служенье муз, сами знаете, не терпит... Правда? – и тетка мне заговорщицки подмигнула. Я уткнулся в мамин рукав.

В тускло освещенном туалете стоял большой высокий унитаз. Вверх по стене от него ползла рыжая труба и пряталась в зеленую коробку. Из коробки сбоку свисала цепочка.

– Хватит головой вертеть! Давай по-быстрому, – говорила мама, расстегивая мне штанишки. И зачем-то вдруг сказала, словно обращаясь не ко мне, а куда-то в стену:

– “Служенье муз”, велосипед... Что она мелет?

– Что, мама?

– Ничего! Давай быстрее делай свои дела, а то нас ждут.

Великолепный вид...

Этим великолепным видом, который удовлетворит самое горячее любопытство минуты за две, мне пришлось наслаждаться все детство и юность.

Через дорогу, высилось грубое серое здание, громоздкая будка, живое свидетельство вырождения большого имперского стиля – с треугольной крышей, из которой, как из щербатой десны, торчали короткие игрушечные трубы: общежитие для студентов из развивающихся стран, преимущественно африканских. Местные жители прозвали его “обезьянником”. Справа от “обезьянника” архитектурная мысль лениво, но планомерно продолжавшая загромождать оцепеневшие пустоши типовыми пятиэтажками, вдруг безо всякой на то причины в середине семидесятых взяла и поставила здание метро. Оно напоминало мне мавзолей на Красной площади. Только тот красный, а оно было серым, как поначалу все здесь вокруг.

Сверху, с девятого этажа, метро выглядело не по-ленински приземистым. Хотя почему не по-ленински? Очень даже по-ленински, учитывая отнюдь не исполинский рост вождя. Но сущностно все-таки не по-ленински. Потом станцию метро скрыла городская застройка нового тысячелетия. Видимо, власти наконец решили, что подобные сооружения жителям созерцать вовсе необязательно. Налево из нашего окна виднелось придавленное к земле здание бассейна, наполовину закрывавшее зеленый овал стадиона. А за ним высилась окруженная нечесаным парком политехнического института старая, почти готическая, водонапорная башня, возле которой, словно в карауле, замерли две исполинские фабричные трубы.

Если верить городским справочникам, в шестидесятые годы прошлого века вокруг круглой площади – она относительно моего окна располагалась чуть правее – стояли старинные двухэтажные особняки, уютные, почти игрушечные с зубчатыми башенками. Потом городские власти их снесли, оставив в назидание потомству только один. На их месте выросли красные кирпичные громады, к подножию которых тотчас же прилепились пивные ларьки, аккуратные, легкие, как спичечные коробки, только с крышами и козырьками. Чуть поодаль разместили гигантский правильный куб, кинотеатр “Выборгский”, с фойе, рестораном, огромным залом, уютными креслами и широкой сценой, в правом углу которой стояло старенькое пианино, напоминая о золотых днях немого кинематографа.

И вот площадь Мужества, представлявшая собой некогда всего лишь лужайку с трамвайными рельсами – я в детстве думал, что трамвай едет прямо по траве, – площадь Мужества, способная похвастаться разве только ветхими старорежимными постройками, обреченными судьбой и временем на прогорклое забвение, и общественной баней-шайбой, за которой виднелись унылые корпуса завода, та самая полуспальная площадь наконец-то обрела достойный цивилизованный вид, сознательную мощь многоярусного театра, имперское величие и масштаб.

Трамваи, троллейбусы, автобусы, легковые автомобили и грузовики дружно загремели тристановскими аккордами, опрокинув все доводы, которые старый артиллерист, жалкий умалишенный приводил против байрейтского гения и его “Кольца”, отдававшего ароматом кислой капусты и баварского пива.

## **Золотое кольцо**

Может, кто забыл, но пивные ларьки в советские времена работали с перебоями, как и все остальное, как заводы, магазины, ателье и НИИ. Общество развитого социализма было обществом спектакля, маразматического большей частью, но отнюдь не обществом изобилия. И пива на всех не хватало. Вернее, конечно, хватало, но не всегда и не везде.

А кольцо ларьков, охватившее площадь Мужества, работало бесперебойно. Если золотой напиток заканчивался в одном ларьке, то шли к другому. Между прочим, там и пиво

могло оказаться получше, посвежее. Если и другой оказывался закрыт или просили очередь не занимать, то шли к третьему, к тете Даше, или к четвертому – к тете Глаше, и так далее. В конце концов, можно было, конечно, сесть на трамвай и через две остановки выйти у пивного бара “Гренада”. Но это казалось неинтересным. Все знали, что там собираются дешевые пижоны, очкастые романтики или еще чего доброго антисоветчики. И настоящие любители оставались верны своей площади, как некогда декабристы были верны своей, сенатской.

Что толку сидеть в баре и толстожопить? В этом нет никакой романтики, никакого движения, никакого порыва. Даже если твой бар называется “Гренада”. Другое дело – ларьки. Их можно обойти по очереди. В одном спросить маленькую, в другом – большую, в третьем – с подогревом, у четвертого – покурить, возле пятого – с кем-нибудь познакомиться, схватить нового знакомого за грудки, а в ответ – получить в дыню. Словом попутешествовать по кольцу местной империи. Такие путешествия забулдыги, ну те самые, которые общежитие окрестили “обезьянником”, называли “экскурсиями по золотому кольцу”.

Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевший бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в нос. И я с горечью понимаю, что весь этот веселый пивной мир исчез навсегда. Золотые кольца, потерявшие над людьми власть, унесены яростной лавой 1990-х. А пивных нибелунгов, орков и гоблинов власти загнали с глаз долой в душные камеры баров и клубов. Там они и по сей день сидят, курят, уныло пьют пиво под недремлющим оком широкоплечего охранника. Ни тебе путешествий, ни приключений, ни доблестей, ни подвигов, ни “разговоров по душам”. Все разговоры заглушает грохочущая музыка.

## В ночном клубе

На стене подворотни, которая ведет в клуб “Борт”, кем-то старательно выведена длинная надпись “Этот клуб – ебанический отстой!” А под ней еще какие-то слова. Их почти не разобрать. Но мы с Люсей внимательно вглядываемся и читаем: “Не ходите туда!” Читаем и все равно идем. В конце концов, нам же надо где-то провести вечер. У входа в клуб я замечаю своего старого знакомого, гомосексуалиста Сливу. Увидев нас с Люсей, он смущенно здоровается и быстро уходит.

– Чего это он? – удивляется Люся.

– Он мне денег должен.

Внутри, у лестницы, нас останавливает охранник. Туловище в двубортном костюме. На правой руке у него перстень размером с кулак.

– Сумочку вашу, пожалуйста, – говорит он безучастно, обращаясь к Люсе и при этом глядя куда-то в сторону. В сумочке охранник-туловище роется очень долго. Я стою рядом и с завистью слежу за тем, как он что-то достает оттуда, перебирает, разглядывает. Мне тоже хочется покопаться в Люсиной сумке. А вдруг я найду там записку от ее любовника с предложением бросить меня и бежать с ним в ночь? Или яд, которым ее снабдил тот же любовник с целью меня тайно умертвить? Я бросаю неприязненный взгляд на Люсю, а затем начинаю внимательно следить за движением рук охранника. Он непрерывно извлекает из сумки что-то новое и тут же кладет обратно. Так, думаю, помада... значит. Что-то не помню у нее такой помады. Лак для ногтей, зеркальце, записная книжка (надо будет на досуге, когда Люся выйдет в магазин, полистать эту книжку). Далее – паспорт, сотовый телефон, пачка бумажных носовых платков, конфета и авторучка. Наконец, туловище разочарованно возвращает Люсе сумочку и отодвигается в сторону. Мы поднимаемся по крутой лестнице.

– Вам на второй этаж, – тихо произносит туловище в наши спины и тут же кому-то кричит: – Слышь! Щас вышибу тебя отсюда под сраку!

– Это не нам, – поясняет Люся.

Вечер явно обещает быть интересным.

Наверху мы проходим комнату с мигающими игровыми автоматами и оказываемся в зале, где стоят маленькие столики. Залов несколько. Почти все столики заняты посетителями. Вентиляторы в клубе не предусмотрены. В воздухе висит тяжелый запах дешевого пива и табака. Грохочет музыка. Это играет какая-то группа. Солистка надрывно голосит в микрофон, но ее заглушают ударные установки. Слов, слава богу, не разобрать: в клубе отвратительная акустика. Ищем спокойный уголок, откуда эту неандертальскую музыку не будет слышно и где можно пообщаться. Но такого места во всем этом клубе нет. Люся мне что-то громко кричит на ухо. Из-за грохочущей музыки я не могу разобрать ни слова. К нам радостно приближается мой друг Митя Калугин. На голове у него пилотка, сделанная из газеты. В руке – пластиковый пол-литровый стакан с остатками пива. Я пытаюсь его познакомить с Люсей, но не слышу собственного голоса. Музыка, раздающаяся из динамиков, почти рвет барабанные перепонки. Закладывает уши и слегка подташнивает. Ощущение такое, словно сидишь в “боинге», когда он набирает высоту. Мы с Калугиным и с Люсей переходим на язык жестов и начинаем общаться при помощи пальцев: неандертальцам на сцене все-таки удалось превратить нас самих в неандертальцев. Музыканты внезапно перестают играть. Также внезапно, как и начали.

– Здесь есть место потише? – спрашиваю я Калугина. Он открывает рот, чтобы мне ответить, но не успевает. Музыканты снова начинают ошалело драть гитарные струны и бить в свои барабаны. Слова Калугина тонут в их грохоте.

– Митя говорит, – кричит мне в ухо изо всех сил Люся, – что на третьем этаже есть бар, где вроде бы тихо!!!

Выходим на огромную площадку перед сценой, где танцует полтора человека, и по лестнице поднимаемся на следующий этаж. Там дверь. За ней обнаруживается небольшое помещение. Стены обиты каким-то красным материалом, который вздыбливается огромными горбами. Видимо, это очень современно. Зато тут тихо. Усаживаемся за столик. К нам присоединяются Митины друзья, симпатичные молодые люди из Эстонии. Открываем меню.

– Здесь цены в два раза выше, чем внизу! – сердится Калугин.

Все ясно. Значит, администрация клуба приняла решение, что в тишине могут сидеть только те посетители, у кого есть много денег. Те, у кого их мало, в обязательном порядке должны слушать неандертальскую музыку.

Появляется официантка.

– С чужим пивом к нам нельзя, – с ходу заявляет она Калугину, который поставил на стол стаканчик с остатками пива.

– Это не чужое пиво, – смеется Калугин. – Это мое. Я его купил на свои деньги.

Официантка игнорирует его шутку и умоляюще затягивает:

– Ребя-я-ята, меня оштрафуют.

– Ладно... – милостиво соглашается Калугин и залпом допивает пиво.

Мы все наперебой заказываем, кто – пиво, кто – водку. Потом сидим, разговариваем, и вскоре мне нужно отлучиться. Когда я подхожу к клубному туалету, то обнаруживаю, что надписей, удостоверяющих, что это дамская комната, а это – мужская, на дверях нет. Я растерянно застываю, не зная, куда податься. Тут меня кто-то трогает за рукав.

– Вам – туда! – Девушка в белом платье гостеприимно показывает мне на левую дверь и добавляет: – Не беспокойтесь: там – мужчины, я там только что побывала.

Стены туалета на удивление чистые. Если не считать таинственной надписи “МЫ – КЕЛЬТЫ!”, оставленной кем-то на двери кабинки.

Потом я возвращаюсь к нашему столику. Все уже ведут оживленный разговор. Калугин начинает рассказывать, как его недавно забрали в милицию.

– Безобразия! – возмущаюсь я. – За что они тебя?

Калугин разводит руками и сообщает:

– В протоколе было записано: “Угрожал соседу по квартире холодным оружием и кричал: “ты – покойник””.

Друзья Калугина начинают смеяться. Все они приехали из Эстонии, и, видимо, там такое происходит нечасто.

– А каким оружием? – деловым тоном уточняет один из них.

– Молодежь! – раздается вдруг пьяный голос откуда-то слева. Там сидит мужик лет пятидесяти, весь взъерошенный с красной выпученной физиономией. Когда мы сюда зашли, он мирно спал, уронив голову на сложенные на столе руки. Спал, а теперь проснулся.

Мы все старательно делаем вид, что не обращаем на него внимания. Но нашего пьяного соседа это, похоже, еще больше раззадоривает.

– Молодежь, кому говорю! – повторно ревет он, обращаясь уже явно к нам. Мы по-прежнему притворяемся, что его не замечаем.

– Я не появ. . . куда говорю?! – не унимается пьяный. – Я тут чё? Ни с кем чё ли?

Наш разговор сам собой прерывается.

– Дед, – рассудительно говорит ему Калугин. – Остынь! Ты это. . . вот что. . . символ веры знаешь?

Я внимательно всматриваюсь в “деда”. Ежели такой, к примеру, в церковь войдет, то, конечно, первым делом стянет шапку и перекрестится со всемордовским усердием. Но “Символ Веры” он явно не знает. А сейчас “деду” позарез требуются собеседники. Он поднимается, качаясь, делает несколько нетвердых шагов и с пьяной ухмылкой обнимает за плечи Люсю.

– Де-ву-шка! – громко произносит он и сует к Люсе свою физиономию.

Люся вдруг резко встает и оказывается чуть ли не на голову выше пьяного. Она делает знак, чтобы мы не вмешивались.

– О! – нетрезво восторгается “дед”. – Вот так. . . девушка!

– Девушка? – переспрашивает Люся и громко щелкает жвачкой. – Сейчас девушка, а через пять минут буду свидетельницей. А вы, гражданин, – Люся резко тыкает пьяного пальцем в грудную клетку, – будете потерпевшим! Понятно?!

Широкая ухмылка на лице мужика тускнеет и сменяется слегка испуганной гримасой. Показывая грязные ладони – типа я тут никого не трогаю, – он, молча, пятится к своему столику. Проводив его безучастным взглядом, Люся садится на место. Все смотрят на нее с уважением.

– Your wife is pretty tough, – испуганно шепчет мне на ухо один из эстонцев.

Мне не хочется поддерживать эту тему.

– Так что там было за оружие? – спрашиваю я Калугина.

– Оружие? – удивляется он.

– Ну да. . . которым ты угрожал соседу?

– А-а. . . Это – карандаш! Я вообще не понимаю, чего он так пересрался. Оружие филолога – это всегда только карандаш. – Калугин назидательно поднимает кверху указательный палец. – Кстати, тебе, жирмуноид, пора бы это уже усвоить.

Через час мы прощаемся и направляемся к выходу. На лестнице по-прежнему дежурит все тот же охранник-туловище. Он кивает нам головой:

– Заходите еще. . .

– Обязательно, – говорю, – зайдем.

## Запахи воспоминаний

Всякий раз, когда я подношу к губам холодную бутылку пива или огромный запотевший бокал с золотистым напитком, резкий запах бродильни ударяет мне в ноздри. И в теплой глубине памяти его продолжением из ленивого марева проступают дома, сначала медленно, важно – важно не спугнуть оторопь резким словом или мыслью, а затем все быстрее, становясь явственными, будто многие месяцы, а то и годы, они ждали своего часа вырваться на свободу. Смутные постройку напрягаются, уплотняются каменной тяжестью, выпрямляются во весь рост. Словно старомодные флигельки к ним прилепляются крошечные коробка пивных ларьков. И вот уже в сгустившемся аромате вычерчиваются линии морщин на узких лбах, строго параллельные, проведенные невидимыми граблями. Начинают топорщиться усы с желтым сигаретным отливом, наливаются багровым бликом толстые щеки раскатысто смеющихся женщин. Летнее солнце играет золотом в кружке и пеной переливается через край. Окурки, изжеванные полусъеденными зубами, летят мимо урн, как дельфины-дионисы, выпрыгивающие из моря и вновь в него ныряющие.

К кому-то детство возвращается благоуханной сиренью в тихом саду, дачным домом с мезонином, поварами, готовящими на летней кухне жирных голубей, старыми качелями, голубым крымским Артеком, круизом по Волге вместе с семьей, с мамой, папой и сестрой, непременно, чтоб в ситцевом платье, наконец, автобусной экскурсией по Золотому кольцу. А вот меня пивная река памяти уносит мыслями к теснящим друг друга зданиям возле станции метро и золотому кольцу пивных ларьков, последнему форпосту угасающей империи. Но это происходит со мной не так уж часто. Пива я теперь почти не пью, и потому нечасто вспоминаю свое детство. Оно прошло здесь, где я сейчас сижу и пишу эти строки, рядом с уставшим вулканом великой стройки, изредка выталкивающим наружу красные каменные формы, остывающие на глазах и покрывающиеся серой плиткой.

Я не участник, не хроникер великих свершений, а всего лишь их испуганный наблюдатель. Мне бы выйти сейчас на улицу, глотнуть свежего воздуха – глядишь, и мысли бы удлинились. И вы могли бы им довериться. Но тот прежний мир, казавшийся вечным, сейчас дремлет, глубоко погребенный под рекламными вывесками. До него не дотянуться. Нет смысла куда-то выходить, отдаваться воле стихий, слушать шелест лип, сторожить дряхлую фантазию у финского валуна. Я останусь в своей комнате, на девятом этаже, буду сидеть за столом и работать до изнеможения, отражаясь в зеркале старого платяного шкафа.

## Лифт

Вчера.

Промозглый осенний полусумрак. Город, аккуратнo зaтянутый едким смогом. Душная аудитория, наполовину заполненная невыспавшимися студентами.

Я провел две пары. Читал лекцию про Уайльда, уже в сотый раз читанную. Потом – про Киплинга, читанную примерно столько же. Поел в буфете тяжелой казенной пищи. Отсидел заседание кафедры (два часа). Прошелся от Университета до метро “Невский проспект” со своим коллегой. Обсуждали взаимоотношения Т. С. Элиота и В. Вулф: их оценку Джойса (у Александровского сада), их тексты (у Строгановского дворца), как надо писать про их тексты (у Казанского собора) и как про их тексты писать не надо (у Гостиного Двора). Уже возле Дома книги у меня промокли ноги, и передвигать их потом было не очень удобно. Затем я поехал на метро домой и по дороге читал рассказ Германа Садулаева “Оставайтесь на батареях!”. На пересадочной станции вошло много людей, и они сразу начали толкаться и

усердно работать локтями. Я спрятал книгу в сумку и десять минут давился вместе со всеми, как чахлый лимон в соковыжималке.

Приехал к себе на площадь Мужества. Зашел в свою грязную парадную, большую собачью будку с кошачьими запахами.

Вызвал лифт.

Посмотрел на белую металлическую табличку, привинченную под кнопкой вызова. Там крупными буквами значилось:

“О ВСЕХ СРАНОСТЯХ ЛИФА СООБЩАЙТЕ ДУРНОМУ МОТЕ!”

На самом деле эта надпись очень давно, еще когда мы здесь жили с Люсей, выглядела иначе. Вот так:

“ОБО ВСЕХ НЕИСПРАВНОСТЯХ ЛИФТА СООБЩАЙТЕ  
ДЕЖУРНОМУ МОНТЕРУ!”

Просто недавно здесь поработала чья-то смелая фантазия.

Лифт спустился с новым резким звуком, потом затих, остановившись, но двери мне почему-то не открыл. Я подождал, потоптался, потыкал кнопку вызова. Произнес слово... (плохое слово) и снова потыкал ту же кнопку. Никакого результата. Поднялся на второй этаж и вызвал лифт оттуда. Или, правильной сказать, “туда”? Неважно... В любом случае я хотел его перехитрить. Лифт забурчал, поехал вверх, потом остановился, но двери все равно не открыл. Я такого никогда прежде не видел. Чтоб лифт туда-сюда ездил, но двери не открывал. Вызываешь – он приезжает. И все...

Пришлось подниматься пешком на девятый этаж. Войдя в квартиру, я сразу решил позвонить “дурному моте”: “сраности лифа” были слишком очевидны, и о них полагалось своевременно сообщить. Долго рылся в столе, пока не нашел на каком-то старом клочке бумаге телефон аварийки.

– Але! – услышал я в трубке хриплый мужской голос.

– Это говорит жилец дома номер девять по улице Тореза. У нас...

– А это, – перебил меня голос. – Жилец дома номер двадцать один по той же улице.

Может, блядь, на радостях поцелуемся, а?

– Извините. Я, наверное, не туда попал...

– Глазомер тренируй! Стрелок...

Послышались короткие гудки.

– Придурак! – обозвался я в трубку. Хотя это теперь было уже глупо и необязательно. Почему-то мне вдруг вспомнилась Люся, моя бывшая жена. Она бы на моем месте этому мужику перезвонила. И скорее всего разговор с жильцом дома номер двадцать один закончился бы в ее пользу. Все-таки жаль, что она ушла. И что я потом не смог ее вернуть.

## Улица

Жизнь за плотными герметичными стеклопакетами кажется стремительной, увлеченной собой, а потому вялой и вполне безобидной. Если открыть окно и на несколько часов впустить в оцепенелую комнату воздух, теперь уже очищенный от всяких ароматов – пивных ларьков на площади давно уже нет, – то подоконник, как по волшебству, быстро покрывается слоем грязи. В комнату проникнет гул Политехнической улицы, тянущиеся хрипы старых моторов, шуршание по асфальту крутящейся резины, громохание трамвая, встряхивающегося какими-то железками.

В детстве улица, на которую я смотрел сверху вниз и на которую каждый день выходил, чтобы залезть в трамвай и отправиться в школу, меня пугала. Нет, здесь не было никакого

зловещего многолюдья, никакой сгущенной движущейся массы, никаких заваливающихся на бок мостов, облапивших берега темной реки. Да и самой темной реки не было. Не было никаких карет, лошадей и истошно кричащих на зазевавшихся пешеходов форейторов. Даже если бы все это мне привиделось – я бы ни за что не испугался. Сказка, пусть самая кошмарная, проступающая сквозь плотную завесу воды, непременно завораживает и развлекает. Тем более ты сам знаешь, что, в конце концов, все в ней закончится благополучно.

Я боялся другого. Машины, ездившие взад-вперед по улице, виделись мне чересчур большими и неуклюжими. Они напоминали угловатые будки или ларьки на колесах, очень неустойчивые, готовые в любой момент по недосмотру какого-нибудь шофера чего доброго опрокинуться.

Теперь мои детские страхи остались в прошлом. Минуло время, и внешний вид машин совершенно изменился. Я даже не заметил, в какой момент это произошло. Словно невидимый хозяин по гладил их властной и ласковой рукой, и они тотчас же сделались приплюснутыми, прижатыми к земле, устойчивыми. Их угловатость сгладилась, а рост вдвое уменьшился. Машины стали послушными, умными, все понимающими, готовыми приспособиться к любым обстоятельствам. Упрямыми, как и прежде, остались только трамваи. Их вид ничуть не изменился, разве что поменялся окрас. Ну и сиденья внутри поставили новые. А так они по-прежнему грохочут – огромные ящерицы, пытающиеся стряхнуть с себя тяжелые железные панцири. Не изменились даже номера маршрутов: “40-й”, “55-й”, “61-й”. Куда-то делся “53-й”. Интересно куда? Где он теперь ездит? Но ничего, ничего... Я переживу. Приятно, что какие-то вещи или хотя бы знаки прожитых лет сохранились. Как и сами звуки улицы, вызволяющие из прошлого давно забытые образы.

## Окно в Европу и Африку

Серое здание общежития напротив нашего дома, шумное и крикливое в годы моего детства, теперь погрузилось в унылую летаргию. Прежние обитатели, африканцы, покинули его, уехали в свои жаркие, смешные страны. Их неряшливые комнаты превратились в типовые учебные аудитории, с одинаковыми столами и одинаковыми стульями, на которые каждое буднее утро опускаются задницы глупых белых людей, будущих компьютерщиков, скучных, усталых, очень похожих на нас. Этим прирученным домашним животным всегда есть дело до каких-то нелепых значков, выскакивающих на светящихся мониторах. Но совершенно нет никакого дела до великих лозунгов прошлых лет о дружбе народов, о братской помощи развивающимся странам, социалистической, разумеется, ориентации, бывшим колониям, которые поднялись с колен, встали на ноги, захотели жить по-своему. Этими лозунгами, украшавшими массивные здания или тряпично натянутыми поперек улиц и проспектов, была некогда так щедра Северная столица великой империи.

Помню надпись “СЛАВА ДРУЖБЕ НАРОДОВ!” на огромном щите, воткнутом, как мне хотелось тогда верить, рукой какого-то доброго хозяина-великана возле тротуара на проспекте Мориса Тореза. Однажды в семилетнем возрасте меня и моего друга Арчи родители вывели погулять. Мы все вышли на проспект, и отец Арчи, показав большим пальцем на щит, сказал моему папе:

– Леня! Обрати внимание! Там, куда мы протягиваем руку дружбы, люди обязательно протягивают ноги. Кстати, слышал? Недавно...

– Тише, – перебил его отец. – Давай не при детях.

Все мы, как мне тогда казалось, верили в наши лозунги. А здание общежития было оплотом нашей веры, ее живым подтверждением.

И одновременно окном в большой мир. Правда, не в Европу. Окном в Европу был сам город. Мне все время твердили, сначала в детском саду, потом в школе на уроках литературы

и внеклассных собраниях, что Петр, Медный всадник, построил наш город на болоте не из озорства и не по прихоти. Что он прорубил окно в Европу.

Выходило, будто мы все вроде как европейцы. Или среди нас очень много европейцев. Или, на худой конец, мы можем регулярно наблюдать этих европейцев из прорубленного окна. Но ничего подобного я лично не наблюдал. А от всех этих разговоров про Петра, про шведов, про окно в Европу у меня голова шла кругом. Самого Петра я никогда не видел. Только на картинках и в кино. И еще мне про него бабушка читала стихи. Она водила меня к Медному всаднику и всегда хвалила Петра. Я даже поначалу думал, что она с ним знакома.

Для чего мне все это нужно было знать? Я не понимал и путался. Мир вокруг не имел никакого отношения ни к Петру, ни к шведам, ни тем более к Европе. Мне иногда кажется, что тогдашняя путаница в моей голове и по сей день владеет незрелыми умами.

## На филологическом факультете

Недавно, когда у меня выдался перерыв между занятиями, я зашел к своему другу Андрею Степанову на кафедру русской литературы выкурить сигарету. Что, кстати, является грубейшим нарушением внутреннего распорядка факультета и чревато для преподавателей штрафом, а для студентов – лишением стипендии. Степанов принимал экзамен у студента-должника с факультета журналистики. Видимо, разговор с будущим журналистом настолько его увлек, что он не захотел прерываться, а только коротко кивнул мне на стул, чтобы я присел. У студента, который отвечал свой экзамен, была короткая выбеленная игольчатая прическа и роскошные прыщи, переползавшие с мятых щек на шею. Он все время морщил физиономию, и когда одновременно с этим шумно выдыхал носом воздух, то делался похож на отфыркивающегося дикобраза. Еще журналист время от времени шерстил ногами, словно ему не сиделось, и бил под столом кулаком правой руки ладонь левой. “Наркот, – подумал я. – Таблетки, сволочь, жрал перед экзаменом. А Степаныч не просекает. Отстает от жизни. Сказать ему – все равно не поверит”.

Молодому человеку под таблетками достался, как я понял, “Медный всадник” Пушкина.

– И что было потом? – участливо спрашивал Степанов, собрав на лбу иронические морщины и постукивая по столу шариковой ручкой.

Видимо, я пропустил тут что-то интересное.

– Ну, я и говорю, – шумно выдохнув носом воздух, продолжал молодой человек. – Он ему погрозил...

– Еще раз, пожалуйста... Кто кому погрозил?

– Этот... Петр Первый, медный всадник.

– Кому? – переспросил Степанов, переведя взгляд в мою сторону и сделав лицо непроницаемым. В эту минуту он почему-то мне напомнил доброго сказочника, которому пришла охота наказать отрицательного персонажа, злого глупого мальчишку.

– Евгению... Евгению Онегину... – забубнил отрицательный персонаж. – Медный всадник погрозил пальцем Евгению Онегину и сказал “ужо тебе”.

– А тот ему что? – невозмутимо разоблачал злодея добрый сказочник Степанов.

– А тот?... Ну... – студент откинулся на спинку стула и потер правой ладонью щеку. – Ну не знаю... Испугался, наверное. И убежал. Или, может... Во! Вспомнил! Евгений Онегин ему погрозил, и тот ускакал на своей лошади. Я что-то не то?..

– Спасибо, – перебил Степанов. – В другой раз придете.

Сказка закончилась, как и ожидалось, тем, что добро победило зло. Отрицательный персонаж был разоблачен и изгнан.

– Почему “в другой”? – вяло расстроился будущий журналист. – Я же рассказал билет!

Степанов все с тем же невозмутимым видом протянул ему зачетку и отдельно повтори:

– В другой раз. Этот же вопрос. И заодно “Евгения Онегина” расскажете.

Молодой человек пожал плечами, поднялся, сунул зачетку в сумку и, попрощавшись, вышел. Из-за двери мы тут же услышали его голос:

– Не знаю... Сказал, в другой раз... И главное – я ведь все читал. И всадника и сказки этого... Белкина.

– “Ужо тебе” – это ладно, – произнес после некоторого молчания Степанов. – Он мне только что “Полтаву” процитировал. – Степанов достал из кармана сигареты. – Слушай! “Швед – русский, колет, рубит, ржет!”

– Ржет, – поправил я.

– Это у тебя “режет”, – сердито сказал Степанов и повторил: – Режет. А у него – ржёт! Понимаешь? Колет и при этом ржет!

Степанов щелкнул зажигалкой и зло закурил.

– Слушай, Степанов, у тебя сигаретки не будет?

– Ох, извини, Андрюша. Я тут с ними со всеми вконец с ума сойду. – Он протянул мне пачку.

– Не расстраивайся, просто уже выросло другое поколение. Компьютеры, телевизор. И интересы у них уже другие.

– Другие, – Степанов посмотрел на меня исподлобья и невесело хмыкнул. Потом затянулся сигаретой. Я тоже закурил. Мы молча уселись друг напротив друга за стол, где у них обычно на кафедре курят и пьют чай.

– Вчера вот тоже приходила, – вдруг вспомнил Степанов. – Пересдавать. Кстати, с вашего вроде отделения. Овца златокудрая...

– Да ладно, с нашего...

– Точно тебе говорю.

– И что?

– Интеллигентная такая, аккуратная. Речь культурная. Судя по всему, она из приличной семьи. Я прямо весь растаял. Спрашиваю ее, так, на всякий случай: – Вы “Евгения Онегина” читали? Она голову наклонила картинно и заявляет: – Что именно? У меня от удивления чуть челюсть не отвалилась. – То есть как это, говорю, “что именно”?! А она так спокойно спрашивает: – Ну что именно из этого автора? И, знаешь, таким тоном, будто с дурачком разговаривает.

– Ну и что? – я пожал плечами. – У моего приятеля из консерватории был друг, вокалист. Так он, когда его на экзамене спросили, кто такой Евгений Онегин, ответил, что это баритон.

– Так то – консерватория, а у нас все-таки филфак!

Степанов меня ничуть не удивил. Чем, в конце концов, филфак хуже консерватории? Он ничуть не хуже. У нас есть свои традиции, тоже славные. Мне папа рассказывал, что критика Виктора Топорова, когда он еще учился на филфаке, однокурсница спросила: “Тут у нас в программе такой поэт – Батюшкин. – “Как ты думаешь, его стоит читать?” – “Конечно, – подтвердил Топоров. – Ты, кстати, еще заодно и Баратышкина почитай. Тоже – интересно”.

– “Что именно!” – продолжал негодовать Степанов. – Нет, ну надо же! И это мне заявляет студентка филологического факультета!

– Перестань, просто жизнь не стоит на месте. Может, она...

– Или взять хоть этого засранца.

– Которого?

– “Которого”, – передразнил Степанов. – Которого ты сейчас видел. Ты думаешь, он лентяй?

– Ой, знаешь, мне как-то...

– Вот-вот, – Степанов потряс пальцами, сжимавшими сигарету, – всем “как-то”. А потом у нас выпускники такие получаются, не прочитавшие Пушкина. Этот деятель еще самый старательный.

На все лекции ко мне ходил, сидел, писал себе что-то. Я, правда, не проверял, что он там пишет. В середине семестра ко мне этот красавец подходит и говорит: – Андрей Дмитриевич! Вы нам список литературы продиктовали, так там такие авторы, которых нет ни в одной библиотеке.

– Это какие же? – удивился я. – У тебя же все Пушкины да Гоголи. Они же везде...

– Подожди. Вот и я его спрашиваю. Покажите, говорю, кого вы найти не смогли. Он открывает тетрадь, тычет пальцем в список и говорит: “Вот! “Повести Белкина”. Этого Белкина, – говорит, – ни в одной библиотеке нет”.

Я поморщился. Степанов очередной раз затянулся сигаретой и замолчал.

– Может, оно и к лучшему, – сказал я. – Зачем человеку всякой ерундой голову себе забивать? Что ему твой Белкин, на работу что ли поможет устроиться? Или длинноногих девиц подгонит?

Степанов внимательно на меня посмотрел. Даже не внимательно, а как-то “со значением”, потушил сигарету, поднялся и произнес:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.